

Внутри советской России

„С котомкой“.

Вяч. Шишков.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

О совхозах.—Начинаем строить.—Умный дурак.—Масляные фокусы.—Кого он любит?—Пьяная взятка.—Самогон.—Налоги душат.—Убойная дорога.—Настроения.

Отправились путешествовать по одному из северо-западных уездов вдвоем с моим другом Кузьмичем, агрономом местного совхоза. Было серое утро. Лохматые облака грозили дождем. С горки, как на ладони: речка, церковь и в кудрявых зеленях—совхоз. А вот крестьянские поля, вот только что расчищенная лесная заросль: унавожена, вспахана, но еще торчат пни. Крестьяне пускают теперь в ход каждый клочок земли, осушают болота, рубят кусты.

— Нужда велит,—объясняет дядя, с которым мы остановились покурить.—Ране-то у помещиков в аренду брали, либо исполу работали. А теперича совхозы кругом, раздуй их горой. Совхоз, известно, в аренду уж не даст мужику земли, сидит, как собака на сене. А где мужику взять земли? Вот и лезем в лес. Выходит, что раньше-то, до революции, у нас земли гораздо больше было.

— Но ведь совхозы-то работают,—возражаю я.

— А провались они со своей работой. Только землю зря пакостят. Наемный рабочий—он нешто хозяин земле? Его колом надо на работу-то выгонять. На себя выработать не могут. Богадельня-матушка.

— Там все-таки образцовое хозяйство.

— Тыфу ихнее образцовое хозяйство! Капуста—и та с килой. Образцовые хозяйства. Эвот в Липцовском совхозе тыщу десятин, дак разве мужик чего поймет. А ежели наше правительство с понятием, надо сделать так: все совхозы в три шеи, а землю мужикам. Хлеба ахнем—горы! А для наглядности науки—в каждой волости по маленькому совхозу, десятин на 25, как в хуторе. Вот и пусть там работают по науке. У меня хутор, и там хутор. Значит, на одной дорожке стоим. Только что я темный дурак, а там глав-

ные специалисты. Вот я и приду учиться к ним: а ну-ка, как образованность гласит? И все перейму оттудова: восьмиполье, севооборот, травосеянье и все такое. А на кой чорт я к нему на тыщу десятин-то пойду смотреть, у него там весь распорядок иной, для мужика неподходящий. Понял, нет?

— Ну, а как заведующие совхозами? Кажется, народ дельный, хороший?

— Да для себя-то они шибко хороши, свое возьмут,—и крестьянин плутовато подмигнул.—Оно и вправду сказать, кому охота на чужом деле стараться-то, раз он служащий? Ну, вот он и гонит в свой карман. Кого ему бояться? Ревизии? А взятка-то на что? Поделят—шито крыто, а в казну—фига. Вот какие дела, и винить их нечего. Кого хочешь на ихнее место посади, тебя ли, меня ли, все равно, будем и мы хапать. Разве что дурак какой сыщется по чести жить. И того слопают живо. Как кто? А кому мешает, тот и слопают. А нет—так и в омут башкой. Очень просто.

— Что же делать-то?—спросил я.

— А вот что делать. Я ж тебе сказал. Вот, скажем, совхоз в тыщу десятин, правительству убыток от него огромный. К чорту всё! На тыще десятин 75 хуторов можно разбить, да в настоящие руки: «владей»! 75 хозяев. Понимаешь! Хозяев! А земля настоящего хозяина любит крепко.

— У государства запасный земельный фонд должен быть,—сказал Кузьмич.

— Ну, фонд. Пускай будет фонд. Это ничего. Фонд все-таки землю в аренду будет отдавать, все-таки мужику будет вольготней.

Вдогонку закричал:

— А вы поширше шагайте-то! в Дубраве праздник нынче, Преображенье... Погуляете.

* * *

Дорога свернула на луг и скоро уперлась в речку. На высоком берегу, в парке, барское гнездо, обращенное теперь в больницу. Мы навестим доктора на обратной дороге, теперь же дальше, в путь.

— Вот погляди, как пулемет работал,—говорит мне Кузьмич, показывая пронизанные пулями мостовые перила,—на той гривке, в лесу, белые были, а здесь—красные.

Отлично оборудованная водяная мельница. С десятков крестьян нарубают новые венцы на быках и устоях плотины, перестилают мост, а еще в прошлом году здесь нельзя было проехать. Я прошел много верст по деревням, видел: ремонтируются совхозские постройки, чинятся мосты, крестьяне делают новые избы. Итак, топор опять заработал по Новой России, пусть не иступится.

В верхнем этаже мельницы приспособлена «динамо», она подает энергию по всему больничному хозяйству, в школы первой и второй ступени, и в школьное общежитие, лежащее отсюда в двух верстах. В прошлом году ток подавался очень слабый, свет был скудный, и только трое крестьян пожелали освещать свои избы, а теперь, когда лампочки накаливаются по-на-

стоящему, крестьяне и рады бы были ввести такое новшество, да поздно: мощность «динамо» ограничена.

По дороге и дальше, напрямик по пашням, врыты свежеструганные столбы. Вот трое молодых людей быстро подставляют к столбу лестницу, ввинчивают простенькие, бутылочного стекла изоляторы и натягивают провод. Это новая телефонная сеть, соединяющая совхозы, волисполкомы, школы и дальше—уездный центр. Значит, работа началась и в этой области.

— Где лестницу-то взяли, товарищи?—спрашиваю.

— Да вроде как на станции украли. А что ж, ежели ничего не дали нам, проволоку и ту на своих горбах прём.

— Скоро проведете?

— Живо! Кому час возиться, а у нас в неделю закипит.

Бодрые, сытые, в бутылке самогон.

* * *

До самой станции идем возле дороги лесом. Нынче масса ягод и, в особенности, грибов.

— К войне,—говорят крестьяне.—Гриб всегда к войне.

Попадаются окатные валуны, наследие ледникового периода. Вот хутор латыша: чистая изба, скотный двор, амбары. Тут же пашня: яровые, картофель, греча, клевер—урожай недурен.

Об этом латыше стоит сказать пару слов. Он наглядно показал, что значит настойчивость и сила воли. Пять лет тому назад он купил у помещика совершенно непригодный к земледелию клочок земли десятины в две, болото, камень на камне и дряблый полусгнивший лес.

— Вот дурак-то,—посмеивались мужики.—Да на этом месте только чорту в кулак свистать.

А чрез пять лет все зацвело и зазеленело. Осушительные каналы, груды собранных камней и вывороченных пней говорят о каторжном труде. Зато теперь всего вдоволь: коровы, овцы, две лошади, пасека, даже сторожевая шавка, едва не разорвавшая мне штаны. Сытно живет на проклятой, когда-то засыпанной камнями земле большая семья, и латыш, попыхивая трубочкой, подсмеивается над мужиками.

— Молодца, Мартын! И самогонка у тебя—огонь.

* * *

Наконец, лесная тропинка приводит к железнодорожной станции. Это целый небольшой поселок. Ссыпной пункт, где принимают продналог, отделение «Пепо», лавка сельского кооператива и еврейская лавчонка, где и товару-то на пять целковых серебром, но все дешевле.

Идем мимо какого-то помещения, набитого мужиками. Это арестованные, не внесшие масляного налога. А возле сидят несколько человек кружком, играют от нечего делать в карты.

— Работа стоит, а мы сидим, как пни, что ты будешь делать! Пахать время, сеять время. Ах ты, Господи...

Конечно, и здесь не без курьезов. Так уж, должно быть, издревле ведется на Руси.

У серого дома—хвост. Крестьяне, бородатые, безусые и древние, в руках кринки, ведра, туса, набитые сливочным маслом, а то и просто узелки. Уж не за самогонкой ли, думаю, стоят. Нет, в этом доме добрейшей души фельдшер, и дров у него, надо быть, заготовлено вдоволь: с утра до ночи горит плита, а православные перетапливают масло.

— Зачем же это?—спрашиваю.

— А, видишь ты, требуется так, значит, по декрету. А мы не знали ничего, сливочного привезли. Нас и погнали вон. Нет—чтобы в исполкомах да по деревням объявить. А то: подавай столько-то скоромного масла, а какого — пёс его ведаёт. Вот и бьемся. Спасибо, фёршал в положение вошел.

В одной из деревень старик рассказывал мне:

— Притащил я, значит, масла сколько полагается. Меня назад. «Пошто?»—«Топленое давай».—Я и то, я и се, нет. Заладили одно: топленое давай. Я домой, пешком. А деревня-то наша за 25 верст. Истопили со старухой, а оно, Бог с ним, не стынет, а срок налога вот-вот кончится. Налил в чугунок, пошел. А оно, Бог с ним, бултыхается, сколько расплескал, и тряпица-то вся в масле. Сниму да пососу, все-таки жаль. Пососу, пососу, да опять вперед. Так все и сосал. Пришел сдавать, не берут. Иди, грыт, остуди. Пошел в речку. Сидел, сидел в воде у краюшка, не стынет, потому жарница, и вода теплая. Я опять на пункт. Мол, не стынет. А они: ты бы, говорят, поглубже, в омутину. А я им: шука я, что ли, на самом-то деле! Тогда иди, говорят, на станцию, там есть такой, называется, погреб. Еле укланял я на станции, впустили. Стал я, благословясь, на льду корячиться с чугуном-то, да едва, Бог с ним, не опрокинул, потому—темно, и рученьки дрожат. Все-таки маленько выплеснул на лед. Одначе, застыло, колупнул это я пальцем—твердое. В радостях понес. Взвесили: «четыре фунтов не хватает, гражданин».—«Это я гражданин-то, значит, а ране все товарищем обозначали. «Давай, гражданин, еще четыре фунта». А где я их возьму. «Купи, а то домой иди». Едва укланял, чтоб это-то хоть приняли, достальное додам, мол, а то срок уйдет. «Явите божецкую милость, ведь мне седьмой десяток, и хромой я, болонища на ноге». Выдали мне фитанец. Прикултыхал домой, пять суток на эту потеху ушло. Через неделю член с книжкой. «А с тебя, Куприянов, четыре фунта недоимки».—«Нет у меня ни масла, ни денег!»—«Тогда самовар возьму». Я с радостью: «Бери, товарищ, самовар!» А самоваришка у меня немудрящий, весь в заплатках, и без кранту, Васютка-внучек кран-то потерял, швырнул в борова, боров такой все ходил к нам по-сторонний, весь огород изрыл, чтоб его пятнало, подлеца... Ну, дак вот, бери, кричу, самовар, а мало—вот тебе чайник, вот котелок, еще чего не хочешь ли?—все забирай, только ослобони ты меня, не тревожь больше! Вот где сидит у меня этот самый налог, вот! Ноги в кровь разбил, хоть на карачках ползай.

В другой деревне говорили:

— Ты думаешь, там чисто дело-то, на пунхте-то этом? Жулики. Ты свое масло сдал, а другой пришел с деньгами, твое масло продадут ему, да от него же и примут. Сколь разов так было. Кого хошь спроси. Э, да пес с ним! Наше деле сдать, приказ исполнить, а куда пойдет—дело ихнее.

Пишу то, что слышал и видел. Пишу по совести. Наблюдатель должен выявлять светлые стороны жизни нашей молодой Республики, и отнюдь не скрывать ее темных сторон. Полагаю, что в этом долг каждого.

* * *

Итак, мы шагаем дальше. Озимое сжато и вывезено с полей. Урожай озимых определенно плох. Дозревают яровые хлеба. На них надежда. Виднеются в стороне от дороги несколько хуторов, видимо, выехали давно. Почему у местного крестьянина почти полное отсутствие чувства прекрасного? А ведь живет среди полей, среди соловьиных песен и блеска зорь. Избенки неважные, перевезенные со старых пепелищ, дедовской постройки, и хоть бы одна финтифлюшечка, расписные ставни, что-ли—хоть бы один куст цветов. А вот латышский хутор—совсем не то. Видна некоторая культурность, изба белая, веселая, ворота струганные, с резьбой, немудрящий садик, а вот и финтифлюшка—раздраконенный всеми красками скворешник на шесте.

По жнивью попадаются вехи и новые межевые знаки: это работают землемеры, мужик усиленно идет на хутора. Но об этом после.

Тучи не желают шутить, заморосил дождь, а мы в одних рубахах, да котомки за плечами. Но вот позади затарахтела телега.

— Кузьмич, да это ты никак?

— Я. Здравствуй, Степан Федотыч,—отвечает агроном.

— Здорово, Александр Кузьмич, здорово, дружок! Скачи в телегу, подвезем. Товарищ, залезайте.

Степан Федотыч весьма деятельный, но плохо грамотный крестьянин. Он председатель общества животноводства в своем родном селе. По письменной части ему помогает сын его, красноармеец, работающий совершенно безвозмездно, просто из любви к делу.

— Вот, по епархии своей иду,—отвечает агроном на вопрос Степана Федотыча.—В двух местах хочу сельскохозяйственное товарищество организовать. И при них кооперативы. Крестьяне очень просят.

— А зачем же ты пешком?—спрашивает тот.—Раз просят, лошаденку должны прислать. Посылают же за попом. А впрочем, наш брат-мужик, ежели дарма ему дают—давай, а чуть из его кармана—зубами за копейку держится. Кого он любит? Только себя любит.

— Отчего это так?—спрашиваю я.

— А кто его знает. То ли природа наша такая волчья, то ли выработки настоящей не было. Кто нас учил, чему учили? А так что ничему,

как поганки в лесу росли. От этого самого мужик только себя и знает. Ему да-ко-сь наплевать на всех. Эвота школа у нас, надо поддерживать, дрова, ремонт. Бездетные или малолетные не хотят. Не желаем, да и все, у нас, мол, нет детей. Да ведь дело-то общественное! Братцы! Ведь ежели на многодетных повинность навалить, им не сладить, дуры ваши головы! Никаких толков, им хоть кол на башке тещи. Так и гибнет дело. Да-а... А я за жмыхами на станцию ездил. Думали, Питер не пришлет. Нет, спасибо, триста пудов прислали.

Агроном объясняет мне, что по его почину в нескольких волостях крестьянскими обществами организуется выставка племенного крестьянского скота, и за лучшие экспонаты будет выдаваться, как поощрение, по несколько пудов жмыхов. Петербург отнесся к этому делу сочувственно.

— Вот ты и прими в соображение, что я тебе расскажу,—начал Степан Федотыч.—Ну, мужик уж темный человек, а вот эти-то на станции малость почище нашего брата, а гляди, сколь прекрасно взятку любят брать. Приехали мы на десяти подводах, наши общественники. На станции все под дрезину пьяные. Я к весовщику, требую взвесить жмых. Выпивши, не желает. Я к начальнику станции,—тоже, выпивши: бери, говорит, на взгляд. Да как же на взгляд, раз дело-то общественное? Я к милиции, вся пьяна под дрезину, и старший ихний пьян. Оказывается, дело просто: вчера купеческий скот принимали. Да тоже не хотели принимать, мол, вагоны заняты, через четыре дня примем. Ну, значит, заплатили взятку, что следовало быть, да ведро самогону выставили, живо нашлись вагоны, бегом, бегом, через два часа поезд,—подцепили, фють! поехали. Вот и обожрались вчерашний день самогоном-то, да и сегодня гуляют. Ну и мы, грешным делом, спросили, сколько причитается дать.—«Гони три бутылки самогону». На счастье наше, шагает человек, сзади кошель, а в кошеле что-то побултыхивает. Не самогон-ли? Самогон. Почему бутылка? Три лимона. Шагай дальше, дорого. Глядим, другой идет рыжий мужчина этакий, бутыл под пазухой с самогоном. Почему? Два с половиной. Шагай дальше! Пошли мы на задь. Возле телеги народ, глядим самогонку покупают. Почему? Два миллиона. Ну мы и...

— Неужели так много самогонки делают?—спросил я.

— Не приведи Бог,—сказал крестьянин,—на хуторах, по деревням, даже духовные лица которые. Ну, те, известно, для себя. А наш брат на продажу больше.

— Да для чего это?

— Как для чего? Кто от достатку, а кто и от бедности. Видишь, неурожай нынче, поневоле гнать приходится которм.

Я удивленно поднял брови:

— Как же так?

— Да очень просто. Я тебе по пальцам объясню. В прошлом году хлеба девать было некуда, ну изрядно гнали вроде для удовольствия личности. А нынче—неурожай, а налоги огромные, много больше прошлогодних, прямо удивительно, как это там разочли в Москве. Страсть, ей-богу, страсть! У многих всю рожь под метелку отобрали, а яровых дай Бог, чтобы до

Рождества, а там—в куски. Ну, вот теперь ты и слушай. Из пуда хлеба десять бутылок самогону выходит. Крестьянин продаст, да на эти деньги четыре пуда муки-то купит. Два опять в дело, а два—в запас. Да опять продаст, так себя и обеспечит до нового урожая. Вот, милый человек. Другой плачет, да гонит. Нужда велит. От латышей пошло, от хуторян. Головастый народ, выдумщик.

* * *

Едем дремучим лесом. Дорога ухабистая и грязная. А дальше—сплошной кисель. Берем в об'езд, по лужам. И я с изумлением вижу, что это не лес, а форменный обман: пашни подползли к самой дороге и вековые деревья, создающие иллюзию первобытных дебрей, тянутся лишь неширокой полосой по ее обочинам. А дорога действительно убийственная. От булыжной мостовой остались жалкие следы: камни выворочены и разбросаны в беспорядке, выбоины, как медвежьи берлоги—ночью шею береги, канавы затянуло землей и поросли бурьяном. Да и не мудрено: много лет не было ремонта, а между тем по этой дороге двигались обозы и батареи—наши и белогвардейцев.

— Самая убойная дорога,—говорит Степан Федотыч,—в восемнадцатом году красные мобилизовали у нас в волости 78 подвод, снаряды везли мы. Осень, грязища, а провианта для лошадей нет и самим жрать нечего, прямо край пришел. И солдатишки-то впроголодь воевали. Еще попервости тогда красная-то армия была. Одначе скovyрнули белых.

Он рассказывает много курьезного, как красные удирали от белых, а белые от красных, как зеленые по ошибке целые сутки пластались против белых, и как красные впрах разнесли и тех и других.

— Вот тут наше орудие стояло, вот там—другое. А белые в Дубраве были притаившись,—рассказывал крестьянин.

Он свернул налево, а мы зашагали вперед. Догоняем группу подвыпивших крестьян: три парня в брюках и рыжебородый дядя—козырь на ухо. Парни, посоываясь носами, идут сторонкой и горланят с присвистом:

«Это будет после-едний решительный бой!»—но вместо удали слышится ожесточение.

Дядя идет напрямиком, посреди дороги, не разбирая луж.

— Сорок семь пудов им подай... А? Нет, ты рассуди, Кузьмич... А жрать-то мне что? Околевать, али как? Э-эх!!—рванул он кулаком по воздуху и едва удержался на ногах.

Лес кончился, пошли желтобурые поля и засерела Дубрава на пригорке. Из деревни вышла толпа, завернула влево и остановилась на пашне.

— Что это плясать, что ли, вышли,—сказал парень

— Здесь не пляшут,—отозвался другой, с гармошкой.—Это поп молебствует.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Праздничная деревня.—У Филиппа Петровича.—Молодежь.—Разговоры.—Мужика надо поддержать.—Крамольные речи.—Свежая струя.—Тяга к хуторскому хозяйству.—Плясы.—Молебен.—Мы, интеллигенты...

Избы, избенки, исправные дома, часовня. Настроение праздничное. Из открытых окон веселые, взвинченные самогонкой и пивом, голоса. Ревет, как и встарь, бессмертная гармошка, вот другая, третья. Идет вдоль улицы гурьба молодежи: чистяки и франты. Это визитеры. Вот повалили в чей-то дом:

— Пожалуйста заходите,—приветливо улыбается из окна девушка и слышен стариковский голос:

— Опять ораву чорт несет.

По тропинке, между избами и канавой, наполненной грязным киселем, обнявшись за шею, идут две бороды в белых рубахах. В сущности не идут, а все время падают вперед носом и никак не могут упасть. Киселеобразные свинячьи лужи тянут их как магнит. Точно нарочно, завидя лужу, ошалело бегут к ней, приседая на подогнутых неразгибающихся ногах, бегом-бегом, вот-вот ляпнутся, но сразу—стоп, как перед пропастью два козла, и начинают гтяться отопыренными задами. Остановятся, промычат и, повернувшись нос к носу, слюняво, взасос начинают целоваться, облизывая друг друга:

— Милай...

— Ку... кум...

Вот завьписывали мыслете от избы к канаве, от канавы к плетню. Правый все напирал к канаве, левый валился на соседа и оба сразбегу тыкались бородами в чей-нибудь сарай. Из открытых окон влипли в них сотни смеющихся глаз, все на дороге остановились и замерли в ожидании. Вдруг оба кума кувырнулись вверх ногами в канаву. Вся деревня дружно грянула ядрено и залиvisto, даже проходивший священник в камилавке, враз потеряв серьезность, засмеялся.

— Александр Кузьмич! Эй!

Мы оглянулись. Из окна кричал лысый темнобородый крестьянин. Благообразное, открытое лицо его приятно улыбалось:

— Заходите, заходите, гости дорогие!—и выбежал к нам навстречу.

Большая, крепкая изба на две половины: направо помещается дочь-девица, стены оклеены обоями, на комод с зеркалом дешевенькие вазочки. пудреницы, пуховочки, духи,—разные безделушки—все как в городе; на стене—фотографические карточки, завравшиеся часишки, налево—жилое помещение, с русской в пол-избы печью, здесь старики и сын-паренек живут. Гостей целая застолица, односельцы и приезжие из других деревень.

«А ведь это питерский человек»—смотрю на одного с остренькой бородкой. Действительно, бухгалтер банка, приехавший отдохнуть на две недели к хозяину дома, своему старому приятелю Филиппу Петровичу. Очень обрадовался:

— Ну как, давно ли из Питера? Как там? Как процесс церковников? Как судьба эс-эров? Говорят, расстреляли митрополита Вениамина?

К судьбе митрополита крестьяне не проявили никакого интереса. Их вопросы были: не слышать ли про войну, про налоги, поправляется ли Ленин, даст ли граница золото. И в конце:

— А верно ли, будто водкой будут торговать?

Сажусь к окну и наблюдаю улицу. Выглянуло солнце и молодежь заходила табунами по селу. Недоумеваю, спрашиваю Филиппа Петровича:

— Это не городские барышни, не из Петербурга?

Оказывается, дети местных крестьян. Белые ажурные платья, белые туфли, кружева, моднейшие прически, зонтики, даже веер у одной. И совсем не деревенская грациозность движений: и жест, и поза. Чорт знает!

— Ведь у нас многие во второй ступени учатся. Которые кончили,— говорит Филипп Петрович и, высунув в окно свою лысину, показывает пальцем:— Вот эта при часах-то, с бантиком-то, Манька Фролова, с хутора, она даже на фортопьянах может. Обучают теперь. И по-немецкому, и по-французскому ребят-то наших обучают которых. Слава богу. Плохо только, не усердно.

Молодежь с тросточками, с хлыстиками, одеты форсисто, чисто. Рассылаются барышням в любезностях, а чуть поотстанут закурить, обязательно матерщиной пустят, так, шутя, между собой.

За столом философствуют. Говорит Филипп Петрович, разливая чай:

— Наше крестьянское дело маленькое, а ежели размыслить, то—большое. Сколько нас мужиков-то в России? Санька, дай-ка календарь сюда! Кажись, сто миллионов... Да вы кушайте, лейте молока-то. Вот грибки беленькие, в уксусе отварили... Опора-то на чем? На мужике. Надо его щадить, надо хозяйство поддерживать? Надо. А для этого надо, чтоб лошади были хорошие у мужика, коровы племенные, сельскохозяйственные орудия, ссуда, агрономов чтоб больше было, да чтоб агрономы не сидели на местах, а по деревням ездили, обучали. Учить надо мужика, учить, учить! Ежели сам не пожелает, палкой по башке! Почему наше правительство не издает декрет, чтоб обязательно травосеяние ввести, настоящий севооборот, восьмиполье? Приказ—и никаких. А то мы еще сто лет на трехполье будем сидеть.

— С нас дерут только... Масло подай, хлеб подай, яйца...

— Разорят мужика совсем. Ему и не подняться.

— Вот именно, что не надо разорять. Самое время теперича поддержать его. Самое время. Раз власть укрепилась, перевороту ожидать нечего, значит надо работать.

— Да еще как!—кричит Филипп Петрович.—Эй, старуха, не пожалейка нам пивца подлить! Сколько времени баловство было, просто не желательно было и землю пахать: сколь не собери хлеба, все отымут. А теперича другие права. Мужик видит, что порядки устанавливаются, все идет по закону. Стряды уж больше, видать, не будут по деревням рыскать да грабить. Значит, работать надо во все тяжкие: давай, давай! Мужик натоско-

вался по настоящей работе, не троньте только мужика, помогите только мужику!

— Они помо-о-гут,—иронически тянет подвыпивший старик. — Знаем, как они помогают-то. Давить их, подлецов, надо.

— Брось пустяки!—обрывает Филипп Петрович.—Ну, передавишь всех, ну, допустим, переворот. Да что ж, это хорошо, по твоему?

— Известно хорошо.

— А за переворотом-то опять потасовка, опять переворот. До того допереворачиваем, что сдохнем все, как тараканы на снегу. Нет, уж раз власть эта укрепилась, и слава те Христу. Эта власть умеет командовать, умеет заставлять. Погоди, успокоится маленько, власть встанет на настоящую точку мнения, тогда посмотри, что это за власть. Это настоящая власть.

Филипп Петрович все посматривал на час. Не знаю, искренно ли говорил он. Думаю, что искренно. Гости отвечали руганью, или в большинстве отмалчивались, и что выражали их глаза под хохлатыми бровями, не так-то легко понять. Мужик держит свою душу на запоре. Он будет поддакивать вам, во всем охотно соглашаться, а чуть ушли, пошлет вас ко всем чертям с вашими высокими словами, и станет жить по-своему, хоть по-дурацки, да по-своему, как жили деды, как земля велит. Но теперь как будто начинает в'едаться в жизнь свежая струя: с одной стороны возвратившиеся пленные, ведь многие из них работали на немецких экономиях и фермах и кой-чему, наверное, научились же; с другой стороны, и это из главных главное, мужичья молодежь, потрепанная в вихре революции по широкому лицу России. У них и взгляд шире—народ бывалый—и к старому укладу отвращение, у них воля и тяга к новой, красивой жизни. Но это только еще сырой материал, его надо пустить в настоящую обработку путем внешкольного образования, путем толковой газеты, книги, лекций, опытных полей. Было бы невредно наиболее толковых и хозяйственных посылать пачками за границу, прежде всего в Америку, пусть посмотрят и поучатся под руководством наших опытных агрономов. А потом... Филипп Петрович говорит: палкой по башке; я говорю: книгой, хорошей школой по душевным запросам, по зеленому полю подрастающего молодняка, детей.

— Вот, на хутор хочу уходить,—продолжает Филипп Петрович.—Нас пятеро хозяев идут на хутора.

Как здесь, так и в других местах на хутора и отруба выделяются самые энергичные крестьяне. Их давит деревня, община, чересплосица, переделы.

— Сам себе господином хочу быть, хоть на старости лет. А дети спасибо скажут. И за землей совсем другой уход будет. Я ее, матушку, как пух сделаю. Каждый камушек долой. А теперь хрен ли мне стараться? Ну, скажем, расчистил свои полосы, а на будущий год передел: моя земля к Ивану отошла, а мне камень на камне досталась.

В избу входит пастух, старый солдат, небритый, и рот провалился:

— А, полковник!..—восклицает хозяин.—Садись, садись. Это полковник наш, коровий командир. Пей-ешь без стеснения. Такой же человек.

Полковник внес с собой запах навоза и сивухи, красные глазки его еле глядели на божий свет.

— Чего хочешь, полковник: пива или самогону?

— Сначала самогону хвачу,—прохрипел тот и рыгнул.

— Брюхо рычет—пива хочет,—сказал старик, и перекусил свежесольный огурец,—Пастухам жизнь ныне лучше, чем попу: целый возище хлеба домой увезет, яиц, масла. А осенью баранов резать будут—баранины дадут.

— А, завидуешь—давай в менки играть,—прохрипел пастух и хлопнул водки.

По улице девушки, весело пересмеиваясь, несли икону, фонарь и за престольный крест, за ними култыхали старухи. Какой-то пьяный подлез на карачках под образ, девушки прыснули. Мальчишка поддел ногой его шапку, тот, не успев перекрестить испачканное рыло, заорал, заругался матерно.

Пришел Санька, сын Филиппа Петровича, в новом пиджачном костюме, и привел с собой человек пять сверстников. Те осмотрели меня со всех сторон, ушли.

— Это Санька мой их оповестил, узнал, что вы книжки сочиняете. Вот, любопытствуют,—сказал мне хозяин.—Санька, так?

— Так,—ответил тот, а сам улыбается и все ластится ко мне. Он переходит во вторую ступень, любит читать, но книг здесь достать негде, мечтает о том, как будет в Петербурге «обучаться на инженера».

— А крестьянство?—спрашиваю я.

— Буду пахать и инженерить. Построю мельницу. Электричество проведу.

В сенцах топот, словно кони ворвались. Это к девице, в ту половину, гости. Вскоре вошла и она, раздраженная, щеки горят:

— Бесстыжий какой этот Прошка Мореход, опять парней привел.

— Самовар, что ли?—спросила мать.

— Очень надо им брюхо-то полоскать. Давай скорей пирогов да хлеба. А селедки-то где?

— Ужо я студня положу. Пес-то их носит, прижрала все. С раннего утра. Да и завтра-то целый день. Обжоры окаянные... — ворчит старуха.

* * *

Вскоре затряслась изба и задребезжала посуда; начался пляс. Пошли смотреть. Гармошка визжит и тяфкает, как сто собак. На маленьком пространстве горницы пляшут восемь пар: и кадриль, и вальс, и тустеп, невообразимая толчая и суматоха. Прошка Мореход выделяет такие штуки, что хоть на открытую сцену в «Аквариум». Сухой, черномазый, возле уха бачки, брюки-клеш, и у пояса офицерский кортик. Он занимает в уездном городе большую должность, приехал на праздник домой, подвыпил и сни-

зошел до веселой гульбы. Но он все время на высоте положения: жесты и позы его льнут необычайным благородством, с уст летит бесконечное: «извиняюсь... извиняюсь... Ах, мерси». В вихре вальса какая-то рослая девица двинула его лошадиным задом, он торнулся головой в брюхо пастуха и воскликнул под общий хохот:

— Извиняюсь, извиняюсь...

Вот ударил ладонь в ладонь, крикнул:

— Дамы! Гранфрон!.. Круг, круг, круг... Нетанцующих прошу к стенке...

Дамы!

Девушки в замешательстве совались, путались:

— Танька, куда ты?.. Олечка, сюда!

— Кавалеры скрозь дам! Сирвупле... Дамы скрозь кавалеров! Сирвупле...

Он дробно перекручивал ногами, брючины, как юбки, хлестали одна другую, взлетала вверх то правая, то левая рука, и каблуки в пол, как в барабан. Изомлел, устал, да и все дышали жарко—в горнице, как в бане, он протискивался сквозь густую толпу зевак, заполонившую все сенцы, и, помахивая в лицо надушенным платком, говорил своей свите:

— Мы, интеллигенты, в городе развлекаемся в танцах таким манером: во-первых, — на эстраде духовой оркестр... Потом...

А в другой половине, под рев гармошки, батюшка служил молебен, отчетливо и не торопясь. Подвыпивший дьячок, привалившись плечом к окну, рявкал благим матом, и уж не мог креститься. Набирался народ, старики и молодежь. Пастух рыгнул оглушительно и перекрестился. Старик сгреб его сзади за опояску и выбросил за дверь. На столе—вода и ржаной каравай. Священник освятил хлеб и воду. Стали подходить к кресту.

— А там веселятся?—спросил он.—Ну, ничего, ничего, дело не злое. Молодежь. Ничего... Лишь бы не ссорились.

— Батюшка, отец Кузьма,—сказал хозяин.—Не смею утруждать вас водочкой, знаю, что не употребляете... Чайку.

— Тороплюсь, Филипп Петрович, тороплюсь... Ах, вы из Петербурга?—обратился он к нам.—Ну, как там живая церковь? И что это за живая церковь? Ее принципы, каноны? Ересь, наверно. И что ж вы не защищали свою мать, старую апостольскую церковь Христову?

— Я никаких церквей не признаю, батюшка,—сказал агроном.

— Ваше дело, ваше дело. И за это осуждать нельзя. Бог и вне церкви живет. Но во что-то-нибудь вы веруете?

— Верую. Даже хотел побеседовать с вами.

— Ах, очень рад... Как же это... Ну, вот что... Вечерком, перед отъездом, я буду у Кузнецова... Вот там.

Когда он проходил мимо окон, освежавшийся танцор демонстративно повернулся к нему спиной и громко сказал свите:

— Мы, интеллигенты, религию отвергаем в корне. Даже для нас смешно. Коммунизм и религия — два ярых врага. Правило гласит: религия есть опиум.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Праздник продолжается.—Пирушка.—Местная знать.—Религиозное прение.—Прокатный пункт.—Питерский педагог.—«Это правительству надо твердо помнить».—Свистун.

Вечером мы сидели у зажиточных крестьян, братьев Андрея и Петра Дужиных. Огромный стол, диван, шкафы, комод, взбитая барская кровать под великолепным одеялом, меж стеной и комодом целый взвод бутылок с самогонкой. Хозяину, Андрею, очень удобно—нагнется, не вставая, и—за горлышко. Он рядом со мной, в жилетке, молодой, безбородый крестьянин, с льяными, по-городски стриженными волосами. Выпивши. Да и вся засталица, человек десять, на сильных развезях. Шумно, говорят все разом, не говорят, а кричат. Один уткнулся головой в стол и похрапывает, другой прилежился спать на табуретке: голова мотается, а сам, как каменный. В ухо мне Андрей гостеприимно бубнит юдно и то же:

— Да ты пей... Самогонки много... Сорок две бутылки спотовлено. Кушайте.

Только выпил—опять готово:

— Кушайте.

Выпил и не успел усов обгереть—к самому рту:

— Кушайте... Не югорчайте.

Тогда мы с агрономом решительно отодвинули стакашки.

Пьяный гость оторвал от стола голову. Хозяйская угостительная рука не дремлет:

— Пей, кум... Пожалуйте.

Бородатый кум бессильно разевает рот, Андрей ловко опрокидывает ему в рот стаканчик. Кум проглотил, открыл глаза и на смерть закашлялся:

— Сы... сы... сы-ыт...

А гости уходят, приходят новые, еле можаху, и как стеклышко, пьют, уходят, приходят, ползут от стола на карачках.

— Братейник, скажи, чтоб пива!

— Эй, хозяйки! Кто там... Пива-а!

Вот кампания молодежи: три барышни и три кавалера—нельзя иначе назвать—прямо из столицы. Кто такие? Приезжие? Нет, с хуторов, свои же, богатые хуторяне. Молодежь, мужчины, конечно, пьет самогонку восхитительно и закусьивает пивом. Заинтересовала меня барышня, рыжеватенькая и модница, в белом кружевном платье, заметьте: в белом. Золотые часики, брошки, браслеты, серьги. Горит и трясется все. Сколько-то пудов муки, крупы и масла уплыло за них в город? Вот она упорхнула и вскоре явилась в голубом, мастерски сшитом платье. А ночью, когда я вновь забрел сюда, она гадала с подругами на картах, в черном шерстяном платье. Она ли? Она. Узнаю от старших: ищет жениха, показывает наряды.

Рядом со мной бывший торговец, местный крестьянин. Лицо его энергично, с широким лысым лбом и коротко стриженной бородою.

— Поговори-ка, поговори с ним... Бывалый человек,—толкает меня под бок хозяин.

— На Шпалерной три месяца гноили. Выпустили. А спрашивается, за что? Да они и сами объяснить не могут,—кому-то кричит торговец.—Дурачьё! За то, что торговлю завел, что работал день и ночь—сгребли да в Питер... Нешто можно без частных купцов государству процветать?.. Идиоты!

— Нет, ты об'яви всем, кто навещал-то тебя? — кричит ему черный, весь в кудрях, черноусый человек, кудри с проседью, лицо пьяно, похоже на мопса, и в ухе серьга. Я принял его за румына, но он оказался чистокровным евреем—Исаем Ароньчем. Он—когда-то богатый купец с соседней большой станции. Его в прах разорила революция, все было разбито в щепы и разграблено. А семейство—восемь человек детей.

— Кто навещал тебе в тюрьма?—кричит он с акцентом и, прищутив левый глаз, замысловато трясет головой.

— Ты, Исай Ароньч, ты,—отвечает торговец.—Спасибо, брат.—И, обращаясь ко всем, тычет в него пальцем.—Братцы! Вот самый этот еврейской породы человек, еврей...

— Жид!..—перебивает Исай Ароньч.—Пархатый жид...

— Этот самый пархатый жид, а дороже он мне родного.

— А-а-!—победно кричит еврей.—А сын тебе навещал?

— Навещал. Старший который. Спасибо, был разок.

— Пускай себе будет так. Зачем благодарить? Это его обязанность. Это долг,—его палец летит вверх.—Долг!..—и безнадежно:—ни черта вы, мужики, не понимаете.

— А больше никто. Ты один в Питер приехал, пропитанья мне привез...

— А-а-а...

Торговец говорит мне:

— Когда Исайка голодал с семьей, я помогал ему, а то сдох бы. Хороший жид, верный.

Напротив меня латыш-мельник. Борода четырехугольная, рыжая и щеки—два красных под глазом кулака.

— Дорого, Мартын, за помол дерешь.

— Какой дерешь! Никогда моя не дерешь. Что надо, — возмущается тот.

— Дорого... Скинь.

— А мельниц наладить дорого, дешево? Скольки труда, уметь нада, вот тут, головам иметь. Ха-ха-ха.

— Пей, Мартын, не слушай, пей.—Пьяная рука расплескивает самогонку на тарелку латыша.

— Зачем селедка поливайт? В рот нада!

— Стой!—хозяин чиркнул зажигалку и к тарелке. Самогонка синим огнем—пых!—затрещала у мельника борода.—Видал?—закричал хозяин.— Вот какая самогонка. Товарищ председатель, видал? Как спирт. Нет, ты в рот мне загляни. Лоскутья лезут.—И, весь изогнувшись, подставляет широко

открытый рот прямо к носу председателя волисполкома. — Крепость — страсть...

Вдруг тенористый голос в соседней комнате и к нам:

— Живой! Живой! Живой пришел! Эй, вы!.. Я—живой!

Шустрый низенький старичонка, в черном пальто и козырек фуражки к уху, прыгал от гостя к гостю и кричал:

— Эй, вы! Живой пришел... Я—живой.

— А мы мертвые по-твоему?—смеялась у дверей хозяйка.

— Живой!.. Фамилия Живой... Пасечник... Живой... Фамилия Живой... Эй, я Живой... Живой! Гуляй, Живой!..

Он, в сущности, не кричал, а пнулил, но так суетился и скакал и, как градом, поливал словами, словно рота солдат бросилась на нас в атаку и закидала бомбами. Все оцепенели, сразу стало тихо, но вдруг задрожала изба хохотом:

— Братцы, да ведь это Живой, пасечник!

— Садись, Живой.

— Пей, Живой!

— Я Живой, а вы мертвые... Эй вы! Я Живой.

Он все еще топчется, помахивает длинными рукавами, наскоро глотает самогонку, самогонка течет по коричневой с желтым бороде, лик постный.

— Эй, Живой! Много ли меду снял?

— Двац пудов, триц пудов, сорк пудов. Я Живой, пасечник. А вы кто? Эй, Живой пришел!

— Ко мне в улей две матки попало. Как быть?

— Ккой сстемы улей? Надо знать... Живой скажет. Живой все знает... до свиданья.

— Песню давайте...—громко предлагает председатель. Это коренастый человек, с большими, как у вахмистра, усами. Выпивши, но держится бодро. моментами напускает на лицо грозу: белые брови тогда слетаются вместе, и глаза ищут жертвы.

— Товариц Тараканов, кушайте... Товариц Тараканов, очень большое утеснение с налогами.

— Товариц Тараканов, убоготвори ты мне тот клиньшек-то, земельку-то... Я б те отблагодарил...

— По закону, все будет по закону... Давайте, споем...

— Товариц Тараканов, ты у нас с братом семьдесят десятин отобрал, а кому отдал?..

— Кому следует... По закону.

— А-а, по закону... А откуда это у тебя серый-то жеребец об'явился?.. Тоже по закону?

— «Вни-из по ма-а-атушке-е-е по Во-о-ол...»—замахав руками, сердито начинает председатель.

Сначала вяло, потом погуще подхватывают, и всем столом ревут козлами песню. Бросили, начали другую. Бросили.

— Революционную! Давайте революционную... Ага, не знаете, не любите?..

— Пей! Товарищ Тараканов, кушай.

— Не хочу,—встал и пошел к выходу.

За ним высокий молодой крестьянин:

— Тараканов, навести меня.

— Не хочу.

— Ну, зайди, ну, ненадолго... Хоть одну рюмочку, желательно очень угостить. Товарищ...

— Не хочу,—и вышел.

— Сердится,—сказали крестьяне.—Не выйдет твое дело...

— Выйдет... Еще как выйдет-то. Я знаю, чем взять его.

Между мною и хозяином втерся большой белобрысый, толстогубый и толстоносый парень. Было темно. Хозяйка зажгла лампу-молнию под толчком. Парень орет мне в ухо:

— Лешего два, чтоб я опять пошел в милицию... Нашли дурака.

— Лёшка! Зовут? Да?

— Зовут. Нашли дурака... Эвот у Васьки Улана наган, и у прочих наганы. Поди, разоружи их... Тараканова хотят стрелять.

— Кто? Где?..

— Исай Ароньч, милай... Пей!

— Я жид!.. Пархатый жид... Кто громил меня? Мужики громили.

— Жуликов поймашь, а город выпустит... Этак самого убьют... Нашли дурака. Ха, служи...

— Зачем выпускают?

— Знамо, зачем. За взятку.

— Эй, Мавра, дай-ко пива!

— А ежели мазуриков выпускают, мы своим судом,—сказал хозяин.—Бац-бац—и готово дело. По-мужицки.

С улицы доносились свист и крики.

Мы пошли к Кузнецову. Нас провожал двоюродный брат председателя:

— Братейник богато живет. А чего ему не жить, всего натащут. Вот теперь на хутора народ бросился, всякому охота получше землю оттягать. Вот его и мажут. А кто не даст, и в болоте просидит. Да мало ли делов у нас. А и не взять нельзя, раз само в рот плывет. Кого хошь посади. Ежели человек с башкой...

— А крестьяне дружно живут между собою?—перебил я.

— А вот как дружно. Вот, говорит... Это Тараканов мне говорит, братейник, то есть председатель... Вот, говорит, Шурка, ты рот-то на сходках поуже держи, а то ушей много у меня. Хочешь, для испытания? Хочу. Тогда ругай меня на сходке и власть ругай, я ничего не сделаю. Я, значит, и вошел в откровенность, то есть на сходе: обкладывал почем зря. После, через неделю повстречались с ним. Он мне, как по пальцам: ты то-то говорил, то-то говорил, а тебе отвечали так-то. А на сходе все свои, самосильные хозяева были. Вот народ какой.

Мимо старух и баб в чистых платочках, мы прошли в заднюю комнату. Маленькая лампа освещала скупо, еле разглядишь, кто сидит за круглым большим столом.

— А-а, вот они... Наконец-то...—Это поднялся священник и вновь сел.— А мне, к сожалению, ехать скоро.

Я поместился между хозяином, радушным румяным стариком и дремавшим псаломщиком.

Рядом со священником здоровецкий старичина. Голова серой копной, маленькая бороденка, жирные щеки полезли книзу, губы толсты—такими губами трудно говорить—он пьет самогонку молча. Редко-редко вlepит ядовитое словцо. Звать его—Пров.

Священник сразу же вцепился в агронома. Но хозяин мешает мне слушать: жалуется на налоги,—это не налоги, а погибель в двадцать раз больше, чем при царе, ежели и на будущий год в такой мере—крышка мужику.

— Я не зря тебе толкую, милый человек. Пропечатьвать надо. Со смыслом, мол, бери, сообразуясь. Ежели овцу стригут, шкуру не спускают: а то сдохнет.

Краем уха ловлю:

— Не даром же великие умы ходили в Оптину пустынь: Достоевский, Толстой, у старцев правды искать,—говорил священник.—А теперь у кого правды ищут? И кто?

— Вот вы говорили, что ваша церковь зовет к себе всех,—сказал агроном, и черные умные глаза его уперлись в елейное лицо священника.—А Толстого вы приняли бы? Лично вы?

— Ежели б раскаялся—принял бы.

— Тогда это не Толстой был бы. Нет, а вот грешного, отрицающего церковь, еретика, которого мы чтим, приняли бы вы?

— Нет.

— Так где ж в вашей церкви свобода, о которой проповедовал Христос?

— Партию свою и то коммунисты чистят,—возразил священник,—а вы требуете, чтобы пустили в стадо волка. Для чего его пускать? Чтоб он церковь разрушил окончательно?

— Батюшка, что вы говорите,—улыбнулся агроном.—Значит, ваша церковь так беспомощно слаба? Вы соитесь критики, да?

— Ерунда!—сиплым басом гукнул Пров.

— Вот дедушка, Пров Степаныч, что-то хочет сказать, — улыбнулся священник.—Ну-ка, ну-ка, как на твоей смысл?

— Ерунда,—еще раз хмуро сказал Пров, корявый, как пень, и выпил. Пришла закутанная в шаль баба с кнотом:

— Батюшка, пора ехать.

— Сейчас, сейчас... Ступай, Маремьянушка, я вьйду сейчас.

Он заговорил о неустройстве современной жизни: все сдвинулось со своих вековых мест и блуждает во тьме. Крестьяне, в особенности молодежь, нравственно распоясались и стали дерзки. И нашему крестьянину нет

никакой поддержки со стороны: школ мало, учителя неважные, культурных начинаний не видно, интеллигенция отсутствует.

— Батюшка,—перебил его агроном.—А ведь священник мог бы принести народу, а следовательно, и государству большую пользу.

— Да научите, как? Ведь мы же прижаты новой властью к стене.

— А-а, прижаты?—злорадно шевельнул Пров губищами.

— Да, прижаты,—покосился на него священник.—Чуть не так рот раскрыл и—неприятность. А кроме того, нынешнее государство желает существовать вне религии... Дак как же прикажете влиять на жизнь?—и батюшка недоуменно развел руками.

— А вот как,—сказал спокойно агроном.—Я сам крестьянский житель. И знаю, что мужик обрабатывает землю не по-настоящему, он обращается с нею, как последний хищник, он не любит землю. И ваша обязанность заставить мужика любить ее. Понимаете ли, заставить!—глаза агронома загорелись, и голос звучал убежденно.

— Но как, как?

— Проповедью. Да, да, не удивляйтесь. Проповедью, с церковной кафедры. Раз'яснить темному уму, что труд должен быть осмыслен, опозитизирован, что такой труд не проклятие, а подвиг, а высокое назначенье человека. Вы должны возвести труд в принцип всей жизни, да не всякий трудишко, не всякое ковырянье земли сохой—лишь бы сам был сыт,—а настоящий труд, чтоб зацвела вся земля, чтоб...

— Ерунда!—перебил Пров.—Я церковный староста. Во многословии нет глаголения... Аминь, рассмылся!—и выпил.

— Пожалуйста, я слушаю, нуте-с,—сказал священник, прихлебывая чай.

— А заставить крестьянина вы можете так. Вот, скажем, пришел к вам на исповедь Петр. Исповедовали и говорите ему: вот что, дядя Петр. У всех нынче хлеб уродился хорошо, у тебя плохо, ты без любви, без толку обработал землю, ты согрешил. У всех был засеян клевер, ты хоть и мог засеять, не засеял, ты согрешил. Поэтому нет тебе причастия.

— Тогда этот самый Петр к другому батюшке обратится, а то скажет: ежели не хочешь, так наплевать,—возразил хозяин.

— Это во-первых,—заметил батюшка.—А во-вторых, я не могу этого сказать, это не канонично. А проповеди я говорить буду. Вашей идеей воспользуюсь. Мне это нравится.

— Вот-вот. Внушайте, что нерадивое обращение с землей, или нежелание улучшить породу скота, или устройство плохих изб, холодных хлевов, неряшливая жизнь, неопрятность и так далее, все это—большой грех. Поверьте, что ваш голос дойдет до мужичьего сознания скорей всего: ведь это не газета, не брошюра, не агроном, а сам батюшка, именем Бога, во храме говорит. Это дороже всяких акафистов, этим вы исполните весь закон и пророков. А потом...

— Ерунда,—опять гукнул захмелевший Пров.

— Что? Ну-те-с...

— А потом мужик и без вас будет любить землю, станет эксплуатиро-

вать ее разумно. Заставят обстоятельства. Как? Да очень просто. Тысячу лет жил он свиньей, рабом. Потребности были у него минимальные. А теперь, он нюхнул культуры, хотя бы в виде вот этих часов, этого зеркала, этого пианино. И чтоб все это не уплыло у него из рук, он волей-неволей должен будет улучшать свое хозяйство. Потребности его будут постепенно возрастать, и он силою железного закона выжмет разумно из земли все, что она может дать. И наш мужик не отстанет от своего собрата-датчанина. А может быть, и превзойдет его. Я верю, крепко верю в русского мужика!—закончил агроном.

— Веришь?—вскричал Пров.—Ох ты, отец родной, дако-сь я тебя поцелую,—он был полезен, перебирая руками по столу, и потянул за собой всю скатерть. Подскочил хозяин, усадил:

— Сиди, кум, сиди.

— Вы верите,—сказал священник,—а я не только верю, но и люблю, всей душой люблю мужика.

— Врет, ей Богу, врет,—пробурчал Пров.

— Кум! Нехорошо.

— Ничего, ничего, я не обижаюсь.

Вновь вошла баба с кнутом.

— Сейчас, сейчас, Маремьянушка.

И стал прощаться.

— Ах, как жаль, не удалось поговорить-то. Да заезжайте, ради Бога, ко мне. Рад буду вот как. Вот вы говорили о сельскохозяйственном товариществе в нашей волости. Я с удовольствием войду в правление, но при условии самой активной работы. А ежели вроде мебели—слуга покорный. А, скажите, власти в дела общества вмешиваться не будут, коммунистов не назначают туда?

— Эти товарищества совершенно самостоятельны и автономны,—ответил агроном.

Пров, пошатываясь, подошел под благословенье, и когда священник с псаломщиком скрылись, он сказал:

— Кутья прокислая. Ограбил меня с сестрой. Отец, покойна головушка, передал ему на хранение пятьсот рублей и приказал после своей смерти мне отдать. Ну, поп не отдал. Зажилил.

Мы удивились: по виду священник показался нам доброй души. Хозяин разъяснил, что денег у крестьян пропало много: зажиточные крестьяне в банк денег не клали, а давали на хранение доверенным людям: торговцам, врачам, учителям и, в особенности, священникам. Те, известное дело, пускали их в оборот. С тем крестьяне и давали. А тут революция подоспела. Другой бы и готов возвратить, а нечем.

— Вот, может статься, также и отец Кузьма,—закончил хозяин.—Он и школу при церкви строил каменную, исхлопотал средства. Может, часть туда ушла. Нет, чего зря толковать, хороший поп. Только вот что, ежели надумаете к нему итти, не ночуйте у него и не обедайте. Лучше у Пахома Ильича остановитесь, крылечко синее на столбиках.

— Почему?

— Бедно живет отец-то Кузьма. Семья большая, а доходы теперь—тьфу! Да он и не вымогатель—кто что даст.

Ночь темная, и по дороге грязь. Пробирались со спичками. В том конце шумели, а где-то по близости, может быть, из канавы, звонко покрикивал знакомый голос:

— Живой... Я Живой!.. Пасечник... Фамилия—Живой. А вы мертвые!

Мы ночуем на чердаке у братьев Дужиных. Белоусый Андрей давно спит возле печного бора. Чердак высок и просторен. Спят в разных углах и по середине человек тридцать. Раздается дружный храп, мычанье и сонный хохот.

Нам послан мягкий сеник, чистые простыни и подушки. Да и прочие не на голом полу. Очевидно, сеников и подушек с одеялами у хозяев целый склад.

* * *

Утром Кузьмич осматривал так называемый прокатный пункт. Эти пункты—мера дореволюционная. Они разбросаны по всему уезду. И теперь в плачевном состоянии.

Жнейка, молотилка, две американских бороны.

— А где же сенокосилка и третья борона?—проверяя по списку, спрашивает Кузьмич крестьянина, которому был поручен пункт.

— А их Терентьев взял.

— Под расписку?

— Нет, так. На доверие.

— От Терентьева на мельницу увезли,—говорит другой крестьянин.— У мельника и стоят. Косилка сломанная вся.

— Ничего не у мельника. Грибков Степан взял,—возражает кудрявый парень.

— Ври!

— Вот-те ври.

— А кто же ремонтирует?

— Да никто.... Оно, конечно, ежели пустяковая поломка, то сами, гайку, к примеру, болт. А то средств нет, да и не смыслим. Ране, бывало, до революции, инструктор наведывался.

— А на прокат часто берут?

— Часто. Да вот и сегодня за молотилкой поп приедет.

Агроном приказывает, чтоб к следующему его приходу все имущество было отремонтировано за счет прокатчиков, это может сделать кузнец из Доможирова, выдавать только под расписку, принимать обратно в исправном виде, починить сарай.

— Эх, Кузьмич, вам хорошо приказывать, а что ж я дарма буду стараться-то. На сам-то деле...

— А я тебе вот что скажу. Я не дешевле тебя стою, да вот служу почти

задаром, жалованья—грош, да и то неаккуратно, а хожу по своей епархии пешком, сапоги треплю, не хнычу. Теперь у нас новый порядок, строится новая жизнь, новая Россия. Надо привыкать к общественной деятельности, надо не только себе, а и обществу своему быть полезным. Пора бросить по старинке-то жить: моя, мол, хата с краю. Правительство теперь в средствах стеснено. Вот разбогатеет—новые машины вам придет, инструктора будут. А в заключение вот: если мои условия не будут выполнены, я пункт переведу в другое село, к более энергичным людям. Так и растолкуй крестьянам.

* * *

Зашли к Филиппу Петровичу проститься. Он ушел в поле. Узнаю от хозяйки: мой табак, четверку, украл кто-то из гостей. Да табак—что! У питерского гостя украли часы, положил на комод в той горнице, где вчера пляс был, ну и тилилинули.

— Не приведи Бог, какой вор народ пошел,—заклчила хозяйка.

Брызгал дождь.

— Куда в такую погоду пойдете. Садитесь-ка, попейте чайку,—пригласила она.

За столом гости: учитель из соседнего села с женой. Он молодой человек с усиками, в стоптанных башмаках и обмотках. Сразу же стал расспрашивать меня о теории относительности Эйнштейна, о новых идеях Шпенглера. Он—естественник, бывший преподаватель гимназии в Петербурге. Здесь живет третий год. Жена тоже учительствует.

— Боялись умереть в городе голодной смертью. Здесь все-таки арендуем огород. У жены—коза, кролики. Кой-как бьемся. Жалованье нищенское, высылают неаккуратно. Вообще, на нас, учителей, правительство никакого внимания не обращает. Почему—неизвестно. Отсутствие средств? Но ведь и царское правительство отыгрывалось на этом козыре. Как можно держать народ во тьме? Надо воспитать подрастающее поколение, чтоб оно за совесть, не из-под палки только, могло удержать в своих руках республиканский строй. Чем, какими силами будет возрождаться страна? Где живые силы? На фабриках? Но рабочих—горсть в сравнении с крестьянской массой. Сила России в темных мужиках. А тьма—есть бессилие. И если с первых дней революции не было обращено никакого внимания на деревню, никакой заботы об ее моральном росте, так необходимо это начать немедленно. Иначе все может оказаться иллюзорным: со стороны посмотреть—крепко, хорошо, а дунет ветер—все разлетится, все повалится. Это правительству надо твердо помнить. И только хорошая школа может выработать из мужика, из погрязшего в невежестве рутинера—настоящего гражданина. Так пусть дают школу, пусть дают школу, чорт возьми!

— В столицу не думаете перебираться?

— Боюсь. Годик еще пробуду здесь. Хотя страшно скучаю по городу. В особенности жена. Нашу школу закрывают, меня переводят в другую.

— А почему вашу закрывают?

— Средств нет. А мужик не дает: Вообще, существовать нашему брату трудно. Один учитель остался не у дел, опухать с голоду начал, пошел по бесшкольным деревням, уговаривать мужиков, чтоб отдавали ему ребят учить. «Вот у меня 20 ребятишек набралось, давайте мне по 3 фунта муки в месяц. Согласны?»—«Согласны. Много ли три фунта».—И ты, Силантий, согласен, и ты, Петр, и ты, Степан?»—«Сказано, согласны».—Ну вот, распишитесь,— и бумажку сует. Э, не тут-то было. Хоть бы один расписался. Бумажки, подписей, как огня боятся. «Знаем мы, чем это пахнет». Вот какой народ.

Словоохотливый учитель проговорил бы до вечера, но пришел Филипп Петрович весь в дожде, хоть выжми. Он ходил осматривать свой будущий участок, хутор.

— Каждый день, дождь не дождь, а все на землю полюбоваться сходишь. Ну, прямо тянет, как родная мать.

— Из вас толк будет,—сказал агроном.—И вас полюбит земля.

— А ясное дело!—воскликнул Филипп Петрович, выливая из сапога воду.—Нешто она не чувствует, кто за ней ходит-то? Врут, что земля есть мертвый прах, вроде стихии. Она живая! Да и все на свете дышет потихоньку. Эй, мать!—крикнул он жене.—А я выбрал-таки местечко, где дом ставить будем. Такой пригорочек, понимаешь, все, как на ладошке, все концы. А окнами на солнечную сторону повернем. Я все распланировал: где колодец, где пасека. Я пасеку хочу. Живой тут есть такой... Ох, деловой старик. А погулять любит... Иду сейчас, а он ползет на карачках вдоль забора, ползет, пятной его, а бормочет: «хоть ползу, а Живой». Да, братец мой, да. Надо работать, работать надо. Всем в уши кричу: «Работать!».

Вдруг за окном, возле нас, зафыркал, зашипел паровоз, загрохотал поезд. Свисток, и поезд стал. Вслед за этим раздался хохот ребятишек:

— А ну, дедка, еще! Свистни. Ну, как соловьи. Дедка, свистни...

И в избу вошел обтрепанный беззубый старикашка, за ним—стая детворы.

— С праздничком! Полковнику выпить. Возрадуйся, плешивый, над тобою благодать, во всю голову плешина, волосинки не видать!—Он обнажил лысую голову и ударил в ладонь шапкой.

— Это из соседнего села пастух, тоже на праздник к нам притащился,— недружелюбно пояснил нам хозяин.—Посвисти соловьем, потешь ребятишек-то.

— Свистни, дедка, свистни!

Дед закрыл гноящиеся глазки, приставил к губам пригоршни и раскатился соловьиной трелью. Он насвистывал, тренькал, щелкал с изумительным искусством. Дорого дал бы Станиславский за такого соловья. Дед выпил самогонки, прикрякнул уткой и принялся рассказывать разные побаски и присказки. Большинство их нецензурно, но детвора, старухи и даже учительница показывались со смеху.

— Птицу я люблю, лес люблю, цветы,—шамкал старикашка.—Хорошо на божьем свете... Ей-бо. Я, бывало, соловьев лавливал...

— Дедка, расскажи еще чего-нибудь, дедка! — приставали ребятишки, утирая заплаканные хохотом глаза.

— Фють!—свистнул дед, притопнул ногой и встряхнул лохмами на рукавах.—Нну! Жила-была деревня на возрасте лет, жил в этой деревне старик с мужем, детей у них не было, только маленькие ребятишки...

— Ха-ха-ха!..

— Вот чем пробавляется наша детвора,—грустно заметил учитель. Дождь кончился. Мы двинулись дальше.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

«Только власть марает».—Деревня Дядина.—Заграничная кепка.—Еще о педагогах.—Небывалое событие.—Наши и ваши.—Войнишка.—Белые и красные.

Праздник выдыхался, но пьяные все еще попадались. Нас обгоняли на подводах возвращавшиеся домой гости. Вот важно прокатил председатель волисполкома. Про него случайный попутчик наш, молодой крестьянин, не так давно возвратившийся из германского плена, сказал:

— Тоже называется—председатель. В тюрьму бы его, подлеца. Только власть марает. Взятчик, пьяница, рутатель. Да вот вчера... Нажрался ночью, парни стрелять в него хотели, а, может, постратать по пьяному делу. Он в пустую избу забежал, да под кровать. А двое милицейских легли на брюхе, в избе же, вроде охраны, и револьверы направили в дверь. Дверь, конечно, на крючке. А парни в сенцах тоже на брюхе лежат, и револьверы тоже в дверь уставлены. Да так все и уснули. Потом утром все вместе выпивать пошли. Не знаю, врут ли, нет ли. Сват мне сказывал, Павел.

— За кой же чорт такого выбрали?

— Да ведь народу-то подходящего, понимаешь, нет. Отказываются. «Что ж, говорит, выберут, а потом начнешь по декретам твердо требовать, ну, скажем, налоги собирать, сколько врагов наживешь. Еще убьют. Нет уж, подалее, Бог с ней, и с должностью». Так все и отказываются. Вот в нашей волости выбрали мужика замечательного, город не утвердил, не коммунист, дескать, своего кандидата поставил. А какие в деревнях могут быть коммунисты? Мы это плохо понимаем, политику. Наше дело: на земле сиди.

— Что же вы не жалуетесь?

— Да кому? И кто жаловаться-то будет? Народ у нас робкий. Вот только разве подвыпьют, пошумят чуть-чуть. Ежели в газеты статью без подписи—не примут. В Питер с жалобой итти, не допустят, куда надо. В открытую ежели ссориться с председателем—со свету сживет. Мало ли к чему можно придраться. Живо заберут.

Все хмуро, буднично, серо. В небе ползут рыхлые облака, холодный ветер проносится полями, за лесом видна спущенная в наклон с косматых туч кисея дождя.

В шести верстах от нас сгрудилась в полугоре деревня Дядина. В ней будем ночевать. На коричневых пашнях торчат, как бородавки, кучи навоза.

Здесь брошен плуг, там борона. Пустынно. Дождь и праздник обезлюдил поля. Но какой же это праздник, когда нет солнца! День продолжается, или вечер наступил—не разберешь. Кругом серо, тоскливо. Вот заплаканная березовая рощица. О чем с ветром говорит шумящая листва? Об осени? О том, что вот там, направо, журавли летят? Дорога непролазна. Идем стороной, мокрыми лугами. В сапогах жмыкает вода. Холодно. Скорей бы в избу. На самой вершине молодой елки насмешливо стрекочет сорока. Ей безразлично, с кем ни говорить: с елкой, с облачком, с пропищавшим комаром. Но городскому человеку среди деревенского печального безлюдья—смерть.

Дядина. Остановились в доме зажиточных крестьян, родственников агронома.

Зажигается лампа, кипит самовар, и мы облакаемся в теплые валенки, принесенные радушной хозяйкой.

Благообразный старик-хозяин, с умным задумчивым лицом, сидит под окном. Рядом с ним, дымя махоркой, Кузьмич. Беседуют. Молодуха снует взад-вперед. Вот притащила березовое полено и сдирает бересту.

— Побольше завари бересточки-то,—говорит старик,—а то живот стал маять: понос.

Молодуха наложила бересты в большой чайник и залила кипятком.

— Бересточки и я выпью,—сказал Кузьмич.—А помогает ли?

— А вот увидишь. Как рукой.

На празднике, в Дубраве волей-неволей нам пришлось сделать серьезное испытание желудку: жареные, соленые и маринованные грибы, молоко, селедка, самогонка, огурцы. Поистине—ударно. Действительно, вместо чаю, настой бересты с молоком сделал чудеса.

Муж молодухи, вошедший к ней в дом из соседней деревни,—сельский учитель. Сухой и безбородый, светлые усы щеточкой. Его в прошлом году придавило бревном на валке леса, но отдышался, теперь на поправке, чуть покашливает. Рассказчик он великолепный: наблюдательность, память на позу, на сочную фразу. Он раньше учительствовал на Мсте, я тоже в юности жил в тех местах, и мы предаемся воспоминаниям. Зовут его—Дмитрий Николаевич.

— А вот в нашей деревне, на Мсте, расскажу я вам, такой случай был. Сижу я весной возле избы, подышать вышел. Вдруг подходит ко мне в белом балахоне человек, на голове кепка с пуговкой, а за плечами мешок. По физиономии видать—не русский, брови с напуском и взглядом колет. Поздоровался и говорит: «Обошел, говорит, я десять дворов, просил дать мне для научных опытов десятину земли. Я сам вспашу, посею—зерно мое, вот в мешке—и весь урожай будет хозяина земли. Не дали. Никак не мог уговорить. Может быть, вы дадите мне?» Я посоветовался с хозяевами, уговорил их. Дали. Он обрадовался, стал благодарить. «А то, говорит, полное разочарование в русском мужике. Страшный, говорит, рутинер, старовер. Я, говорит, вот седьмой год хожу по разным губерниям и наглядно обучаю крестьян. Они ж дети! Их надо носом тыкать во все. Их надо приручать как-нибудь ласковым словом, примером, делом, опытом». Ночевал у нас, а на другой

день пахать поехал. Вспахал, разбил на маленькие участочки, по-разному удобрил: и калием, и азотом, и фосфором, а один участок—всеми этими снадобьями вместе. «Это составные части навоза», говорит. На каждый участочек укрепил дощечку с надписью. Ужасный чудак. Мужиков сошло много на его работу смотреть. Подробно объяснял. И сеял по-разному, и пахал, и боронил—каждый участок на особый лад. И все это прописывал на дощечках. Дощечку к палочке прибьет, и в землю. А с картошкой ужасно мудровал: он ее и на аршин в землю зарывал, и на поверхность, и глазком сажил, и одну кожуру. Обчистит ножичком, да в котелок: «это, говорит, мы изжарим. А кожуру в землю». Мужики на смех подняли. А кепка одно твердит: «ждите осени». И действительно, стало под осень подходить, ахнули мужики. Яровые ему—то под бороду, то по пояс, то ниже колена. И колос разный, на каждом участке свой. Подвел нас к самому скверному участку—«вот, говорит, это по вашему способу посеяно». Действительно, видим—урожай точь-в-точь, как у нас—самая дрянь. Тут-то мы и догадались, в чем сила земли. А надо сказать, что семенами он засеивал крестьянскими, свои сменял, чтоб не было разговоров каких. Объяснил все, как следует, растолковал и дощечки оставил, и участок оставил, попрощался и ушел неизвестно куда. Вот она кепка-то какая. Мужики думали, что колдун, с нечистым снюхался. А потом принялись по его указанию заниматься. На другой-то год совсем неузнаваемо у них стало. А с них и другие начали пример брать. Так и пошло. Писали мне, что нынче не только весь налог выплатили, а и в продажу много хлеба пустили. Вот оно, что значит заграничная кепка-то с пуговкой!

— Эх, кабы такую кепку да к нам теперь залучить!—вздыхнул старик.

— А какого вы мнения об учителях, приехавших из Питера?—спросил я.

— Да как вам сказать,—задумался Дмитрий Николаевич.—Конечно, у них специальность большая. С нашими никак невозможно уравнивать. Но... уж очень корыстные люди. Обращается к ним крестьянин, прошение ли написать, за советом ли—обязательно требуют платы. За ученье, тоже самое, вымогают. А помочь мужику так, для идеи, они не желают. Словом, пришлый, чужой народ.

— А ты, Митя, по справедливости рассуждай,—сказал старик.—Нешто можно шибко ученого человека с нашим учителем сравнить? Он все знает, а начнет рассказывать—сразу свет в глазах делается у тебя. Вся подноготная ему известна. А наш учитель что... Наш учитель, можно сказать, вроде нас, темный. Другой что и знал-то, так забыл.

— Да-а-а,—скептически протянул и агроном.—Когда правительство отказало давать пайки учителям и предложило сельским обществам взять учителей на свое иждивенье, крестьяне созвали сход. Были приглашены учителя, и я присутствовал. Наши, местные, чтоб подладиться под мужиков, повели двойную политику. Они говорили примерно так: «Конечно, учителю надо кормиться, но и на крестьянина особенно-то уж налегать нельзя». Учителя же приезжие, с высшим образованием, те требовали определенно и

настойчиво: паек! И от своих требований не отступались. Почему? Как думаете, Дмитрий Николаевич?

— От жадности.

— Нет. А потому, что местные учителя имеют и землю, и корову, ему легко с мужиком и в великодушие сыграть. А у приезжих зачастую ничего этого нет. И если они требуют оплаты своих трудов—требование их свято. А вам стыдно, что вы их не можете поддержать. Ведь это ж огромная культурная сила пришла в деревню. Событие прямо-таки небывалое: в одной известной мне школе второй ступени—четыре человека с высшим образованием: среди них—известный геолог, другой опытный преподаватель реального училища, одна из преподавательниц—лингвистка, учит языкам, другая—на рояли. Ярцевской школой заведует ассистентка известного петербургского профессора, старшая учительница в Лужках—окончила географический институт. Разве это не клад для деревни? И вот эти люди уходят домой, к себе. Жили в голоде и холоде, отношение к ним было неважное. Словом, деревня не могла удержать их у себя. Это, конечно, очень грустно.

— Действительно,—сказал Дмитрий Николаевич.—А ежели взять наших, даже смешно сказать.—Он махнул рукой и, поерошив волосы, неодобрительно крякнул. В голосе его зазвучала ирония.—По пальцам можно перечесать: Силантьев, например,—царский вахмистр, три раза на учителя экзамен держал, едва на четвертый кой-как выдержал, Чиркина—повивальная бабка, Шатунов—из дьячков, тоже едва выдержал экзамен. Все они еще от земства остались. А вот новая, недавно испеченная, эта из портних, эта уж совсем ни аза в глаза. Конечно, есть некоторые, окончили семинарию учительскую. Но и они опустились. И верно, что не выше мужика по своему кругозору. Культуру забыли, духовных интересов никаких, ничего не читают. Ну, правда, спектакли иногда ставят пустяковые, а больше—пьянствуют, да в карты.

— Вот то-то и есть,—сказал старик,—и какие же узоры может с них снять мужик, чему научиться? «Ежели уж учителя пьянствуют, так нашему брату и подавно полагается», вот что толкуют мужики.

Трещала на сковородке яичница, клубился вкусный парок над щами из баранины. Вошел сын хозяина, лет тридцати, смуглый и угрюмый, в холщевой рубахе, заправленной в такие же штаны. Он только что накосил корове травы, был мокрый. Познакомились. Он кончил техническое училище цесаревича Николая, работал машинистом на коммерческих пароходах, а когда его брат, красноармеец, помер от тифа, другой был убит белыми,—он пришел домой помогать семье. С весны хочет заняться землемерным делом.

— Навсегда думаете остаться в деревне?

— Боже сохрани!

— Почему это образованные люди из крестьян уходят в город? Ведь деревня так нуждается в собственной своей интеллигенции,—спросил я.

— Да. В деревне нет своей интеллигенции, да не знаю, и будет ли когда-нибудь,—сказал механик.—Скучно очень жить здесь. Да и знания свои приложить некуда. Ну вот, например, я. Заводов здесь нет, мельниц па-

ровых нет. Землю пахать? Но тогда к чему было учиться на механика. Я привык жить совсем в другом масштабе, чем мужик. Мне нужна книга, театр, общество. А если сесть на землю, то едва на хлеб добудешь. А книгу, ком-форт, и все то, чего вкусил—по боку? Вот в чем дело. Ради чего же я учился десять лет?

Разговор перешел на тему о красно-белых боях.

Деревня Дядина, как находящаяся на пригорке, была важным стратегическим пунктом. Она несколько раз в продолжение лета переходила из рук в руки. Сначала ее захватили белые. Крестьяне очень обрадовались, увидав офицеров. Наступление красных было отбито. С попавшимися в плен обращались жестоко. Мужики тоже не отставали. В особенности, отличались жестокостью женщины.

— После свалки-то,—говорит хозяйка,—красные разбежались, а бабы увидали по пригорочку красноармеец ползет. Поползет-поползет, да торнется, оклемается маленько, да опять поползет. Бабы туда и помчались всей деревней с поленьями, кольями, топорами: «Бей его, дьявола, антихриста, бей!» Подбежали, он и глаза закатил, не дышит. Дуняха вырвала у него из мертвых рук винтовку, карманы обшарила, револьвер там, и потащили за ноги в деревню. Пока волокли, всего измолотили.

Потом белые начали отбирать у них скот, лошадей, стали безобразничать, выгонять на работу, забрали на службу всех парней и молодых мужиков, непокорных пороли нагайками. Мужики стали Бога молить, чтоб забрали их красные.

— Такая сволочь, такая дрянь эти белые,—возмущается учитель.

Ему все поддакивают.

— Очень жалко мне было красного одного,—говорит младший хозяйский сын Сережа, мальчик лет шестнадцати.—Допрашивал офицер. Говорит: «Переходи к нам, или повесим». А тот: «Был красным, и умру красным. Вешай, белая собака!» Тогда его повели за деревню, к березе, возле изгороди росла, а нас всех, мальчишек, отогнали. Мы все-таки бочком-бочком, да пробрались. Велели залезть ему на изгородь. Красноармеец сам надел петлю и веревку перекинул через сучок. «Ну, скачи!»—офицер крикнул. Тот прыгнул вниз: «Не держись за веревку, не держись! Скорей подохнешь!»—Опять крикнул офицер. А потом подошел к нему и из нагана два раза в голову, весь череп снес. Мужикам сказал: «Ежели будете хоронить—всех перепорю».

Красные относились к крестьянам совершенно по-другому. Я прошел около сотни верст, спрашивал бедных и зажиточных крестьян, священников, учителей, бывших торговцев, кабатчиков—все в один голос говорят. «Белые—дрянь, шваль, грабители, разбойники, в особенности офицеры и помещичьи сынки; красные—народ, как народ, простые русские парни и рабочие, крестьян не истязали, женщин не насиловали, грабежами не занимались». В особенности хорошую память оставили по себе красные военачальники.

Нас уложили на кровать. Дмитрий Николаевич охапками приносил из другой комнаты книги, журналы. Он любит почитать, но это все перечитано,

новых книг достать трудно. Потом, стоя среди комнаты, начинает рассказывать разные забавные истории, хохочет и спрашивает:

— Вы не спите?

— Нет,—отвечаю я, борясь со сном.

* * *

Утром разбудило солнце. Мычат коровы, поет петух, скрипит у колдда блок. Выхожу на улицу. Возле избы сидит старик-хозяин, чинит прабли.

— Страшно было во время боев-то?—спрашиваю.

— Первое время—страшно. После приобькли. Вон та изба—видите?—снарядом разворочена, а вот на этой крышу снесло. Сначала крестьяне в лес убегали, потом плюнули и отсиживались в окопах: у нас в огороде три окопа были, блиндажи называется, закрытые, там не опасно. Во многих местах, по деревне, окопы нарыты. Только выйдешь в поле—Господи благослови, поработать бы, вдруг пальба и крики: «Уходите, уходите!» Ну и бросимся все бежать в блиндажи. Страсть, как надоело. Все-таки убило у нас двоих в деревне: старика да старуху.

Нас провожал механик.

— Мы на отруб ушли,—говорил он.—Не на хутор, а на отруб: то есть, нам общество выделило сколько полагается земли, а сами будем жить в деревне, тут расстояние небольшое. У нас в разных местах было 75 десятин, и плохой и хорошей земли. Мы стоворились с деревней, что вместо 75 десятин нам дадут 30, но чтоб по выбору. Мы выбрали самую лучшую. Вот она, наша земля. Частичка леса тоже к нам отошла.

На полосах две женщины и Сережа жали яровое. Кузьмич устроился на снопах, вынул свою походную тетрадь и сделал таблицу севооборота чуть не на восемь лет вперед, подробно растолковал механику, с чего начинать, и как вести правильное хозяйство. Такие таблички Кузьмич составлял почти каждому встречному крестьянину: зайдет на полосу или попутный хутор и целый час долбит, как вода в камень: надо делать так, а не этак.

(Окончание следует).